



## Глава I

Всю жизнь в душе моей хранилось воспоминание об иных временах и странах. И о том, что я уже жил прежде в облике каких-то других людей... Поверь мне, мой будущий читатель, то же бывало и с тобой. Перелистай страницы своего детства, и ты вспомнишь это ощущение, о котором я говорю, — ты испытал его не раз на заре жизни. Твоя личность еще не сложилась тогда, не выкристаллизовалась. Ты был податлив, как воск, еще не отлился в устойчивую форму, твое сознание еще находилось в процессе формирования... О да, ты становился самим собой, и ты забывал.

Ты многое позабыл, мой читатель, и все же, когда ты пробегаешь глазами эти строчки, перед тобой, словно в туманной дымке, рождаются видения иных мест, иных времен, которые открывались твоему детскому взору. Сегодня они кажутся снами. Но если это сны, сшившиеся тебе тогда, то что породило их, какая реальность? В наших снах причудливо сплетается воедино то, что было пережито нами когда-то. Самые нелепые сны порождены реальным жизненным опытом. Ребенком, еще крошечным ребенком, ты падал во сне, читатель, с головокругительной высоты; тебе снилось, что ты летаешь по воздуху,

словно для тебя привычно летать; тебя пугали страшные пауки и существа с множеством ног, рожденные в болотном иле; ты слышал какие-то голоса и видел какие-то лица, пугающе знакомые; ты взирал на утренние и вечерние зори, подобных которым — ты знаешь это теперь, заглядывая в прошлое, — ты никогда не видел.

Прекрасно. Эти отрывки детских воспоминаний — они принадлежат к другому миру, к другой жизни, они — часть того, с чем тебе никогда не приходилось сталкиваться в твоём нынешнем мире, в твоей нынешней жизни. Так откуда же они? Из какого-то другого мира? Из чьей-то другой жизни? Быть может, когда ты прочтешь все, что я здесь напишу, ты найдешь ответы на эти недоуменные вопросы, которыми я сейчас поставил тебя в тупик и которые ты, еще прежде чем раскрыть мою книгу, задавал себе сам.

Вордсворт это знал. Он не был ни пророком, ни ясновидящим, он был самым обыкновенным человеком, как ты или любой другой. То, что он знал, знаешь и ты, и каждый человек это знает. Но он удивительно точно сказал об этом — в тех строках, которые начинаются так:

«Не в полной наготе и не в забвенье полном...»

Да, мрак темницы смыкается над нами, едва успеваем мы появиться на свет, и слишком быстро мы забываем все. Однако, рождаясь, мы еще помним иные места, иные времена. Беспомощные младенцы, покоясь у кого-то на руках или ползая на четвереньках по полу, мы грезим о полетах высоко над землей. Да, да. И в наших кошмарах мы переживаем страдания и муки, изнывая от страха перед чем-то чудовищным и неведомым. Едва родившись, еще не получив никакого опыта, мы

тем не менее уже с момента появления на свет знаем чувство страха, страх живет в наших воспоминаниях, — *а воспоминания возникают из опыта.*

Если говорить о себе самом, то в том нежном возрасте, когда я едва начинал складывать слова, а чувство голода или желание сна выражал еще в нечленораздельных звуках, — да, уже тогда я знал, что когда-то блуждал в пространстве среди звезд. Мой язык еще ни разу не произносил слова «король», а я помнил, что когда-то я был сыном короля. И еще я помню: я был рабом и сыном раба когда-то и носил на шее железное кольцо.

Более того. В возрасте трех... четырех... пяти лет я не был самим собой. Я еще только начинался, мой дух еще не застыл в устойчивой форме, соответствующей моему телу, моему времени, моему окружению. В этот период все, чем я был в предыдущие десятки тысяч моих жизней, боролось во мне, в моей еще не сложившейся душе, стремясь воплотить себя во мне и стать мною.

Нелепо, не правда ли? Но вспомни, мой читатель, который, как я надеюсь, будет странствовать со мной во времени и пространстве, вспомни, прошу, мой читатель, что я немало размышлял над этими предметами, что долгие, долгие годы, в бесконечном мраке, пропахшем кровью и потом, я оставался наедине с моими другими «я», и общался с ними, и изучал их. Я вновь претерпел горе и муки былых существований, чтобы принести тебе познание, которое ты разделишь со мной как-нибудь на досуге, спокойно перелистывая страницы моей книги.

Итак, как я уже сказал, в возрасте трех, четырех и пяти лет я еще не был самим собой. Я еще только выкристаллизовывался, обретая форму, в сосуде моего тела, и могучее неизгладимое прошлое, определяя, чем я стану, воздействовало на ту смесь, из которой я должен был сложиться. Это не мой голос раздавался по ночам, исполненный страха перед чем-то хорошо известным, что мне, без сомнения, не было и не могло быть

известно. И не о том же ли самом говорят мои детские страсти, вспышки ярости или приступы хохота? Чужие голоса звучали в моем голосе, голоса живших когда-то встарь мужчин и женщин, голоса теней — моих предков. И когда я вопил в бешенстве, в этом вопле слышался вой зверей, более древних, чем горы, и в детском моем неистовом, истерическом, яростном визге находили отзвук дикие, бессмысленные крики зверей, населявших землю в доисторические времена, еще до появления Адама.

Ну вот, я и выдал свою тайну. Багровая ярость! Вот что погубило меня в этой, нынешней жизни. Вот по милости чего через каких-нибудь несколько недель меня выведут из этой камеры и потащат к высокому шаткому помосту, над которым болтается крепкая веревка. И с помощью этой веревки меня повесят за шею, и я буду висеть на ней, пока не умру. Багровая ярость всегда была причиной моей гибели во всех моих воплощениях, ибо багровая ярость — это роковое, губительное наследие, выпавшее на мою долю еще во времена покрытых слизью существ, когда наш мир только создавался.

Но, пожалуй, мне пора представиться. Я не слабоумный и не сумасшедший. Я хочу, чтобы вы это поняли, иначе вы не поверите тому, что я хочу вам рассказать. Меня зовут Даррел Стэндинг. Кое-кто из вас, прочтя эти строки, тотчас вспомнит, о ком идет речь. Но большинство моих читателей, несомненно, ничего обо мне не слышали, и поэтому я расскажу о себе.

Восемь лет назад я был профессором агрономии на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен известием о том, что в одной из лабораторий геологического факультета убит профессор Хаскелл. Убийцей был Даррел Стэндинг.

Я и есть тот Даррел Стэндинг. Меня застигли на месте преступления. Кто из нас был прав, а кто виноват в этой ссоре, не имеет значения. То было сугубо личное дело. Важно лишь одно: в припадке гнева, оказавшись во власти багровой ярости, которая была извечным моим проклятием во все времена, я убил моего коллегу. Так было записано в судебном решении, и я признаю, что на этот раз суд не ошибся.

Нет, меня повесят не за убийство профессора Хаскелла. За это преступление я был присужден к пожизненному заключению. Мне было тогда тридцать шесть лет. Теперь мне сорок четыре года. Восемь последних лет я провел в Сен-Квентине — в государственной тюрьме штата Калифорния. Из этих восьми лет пять лет я прожил в полном мраке. Это называется одиночным заключением. А те, кто его испытал, называют его погребением заживо. Но мне во время этих пяти лет жизни в могиле удалось достичь такой свободы, какой редко пользовался кто-нибудь из людей. Я был заперт в одиночке, меня бдительно охраняли, и тем не менее я не только скитался по свету, но странствовал и во времени. Те, кто замуровал меня там на несколько жалких лет, подарили мне, сами того не зная, простор столетий. Да, благодаря Эду Моррелу я в течение пяти лет был скитальцем звездных пространств. Но Эд Моррел — это особая история. Я расскажу вам о нем немного погодя. Мне надо рассказать так много, что я затрудняюсь, с чего начать.

Начну хотя бы так. Я родился на ферме в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведа-эмигранта. Ее звали Хильда Тоннессон. Отца моего звали Чонси Стэндинг — он был коренным американцем. Его род восходил к Элфриду Стэндингу, завербованному работнику, или, если хотите, рабу, вывезенному из Англии на виргинские плантации еще в те давние года, когда юный Вашингтон отправился обозреть пенсильванские леса.

Сын Элфрида Стэндинга сражался в рядах революционной армии; внук принимал участие в войне 1812 года. С тех пор не было ни одной войны, в которой не участвовал бы кто-нибудь из Стэндингов. Я, последний из Стэндингов, которому суждено вскоре умереть, не оставив после себя потомства, в последнюю войну сражался рядовым на Филиппинах, ради чего в самом расцвете своей научной карьеры отказался от профессорской кафедры в Небрасском университете. Великий Боже! Ведь когда я от всего этого отказался, меня прочили в деканы сельскохозяйственного факультета этого университета! Меня, скитальца звездных пространств, страстного искателя приключений, Каина, кочующего из столетия в столетие, воинственного жреца забытых эпох, мечтателя-поэта дней, давно канувших в прошлое и даже не занесенных в книгу истории.

И вот я здесь, в Коридоре Убийц государственной тюрьмы Фолсем, и руки мои багровы. Я здесь, и я ожидаю того дня, установленного государственной машиной штата, когда слуги закона отведут меня туда, где, по их искреннему убеждению, для меня наступит мрак, — мрак, которого они боятся, мрак, который населяет их суеверные души пугающими видениями, мрак, который гонит их, трясущихся и хнычущих, к алтарям богов, порожденных их же собственным страхом, сотворенных по их же подобию.

Да, мне уже никогда не быть деканом сельскохозяйственного факультета. Однако я знаю агрономию. Это была моя специальность. Я был рожден для нее, воспитан для нее, обучен для нее и овладел ею. Во всем, что касалось сельского хозяйства, я был гением. С одного взгляда я мог определить удоимость коровы, и любая проверка подтверждала верность моего глаза. Мне не нужно было изучать почву — мне достаточно было посмотреть на пейзаж, — и я уже знал все ее достоинства и недостатки. Я не нуждался в лакмусовой бумажке, чтобы оп-

ределить щелочность или кислотность почвы. Повторяю: земледелие в самом высоком научном аспекте — вот в чем я был гением и остаюсь им. И все же штат, все его граждане вкупе верят, что они могут отнять у меня эту мудрость, погрузив меня в последний мрак с помощью веревочной петли, накинутой мне на шею, и закона земного притяжения, могут отнять мудрость, что накапливалась во мне тысячелетиями и бережно взращивалась еще в те дни, когда на лугах Трои не начали пастись стада кочевников-скотоводов.

А кукуруза? Кто еще так знает кукурузу, как я? А мои опыты в Уистаре, в результате которых я увеличил ежегодный доход от кукурузы во всех округах штата Айова на полмиллиона долларов!.. Это вошло в историю. Не один фермер, разъезжающий сейчас в собственном автомобиле, знает, кто сделал для него доступным этот автомобиль. Не одна милая девушка, не один ясноглазый юноша, склонившиеся над университетским учебником, вспоминают, что это я своими опытами в Уистаре сделал доступным для них это обучение.

А методы ведения сельского хозяйства! Я знаю все причины всех потерь — мне не нужно просматривать киноленты, чтобы заметить, в чем кроется непроизводительность труда, будь то в работе целой фермы или одного работника с фермы, будь то при планировке сельскохозяйственных строений или при планировке сельскохозяйственных работ. Все это есть в составленном мною справочнике с диаграммами. Можно не сомневаться, что в эту самую минуту сотни тысяч фермеров, сосредоточенно хмураясь, заглядывают в него, прежде чем выбить пепел из своей последней трубки и отправиться на боковую. Однако мне самому уже давно не нужны мои диаграммы, мне достаточно одного взгляда на человека, чтобы распознать его наклонности, увидеть, на что он способен, и с математической точностью определить, какова будет производительность его труда.



А сейчас мне нужно закончить эту первую главу моего повествования. Уже девять часов, а в Коридоре Убийц это означает, что пора гасить свет. Вот я уже слышу тихий шорох резиновых подметок надзирателя — он направляется сюда, чтобы выбранить меня за то, что моя керосиновая лампа все еще горит. Словно угрозы живущих могут испугать того, кто осужден на смерть!

## **Глава II**

Я Даррел Стэндинг. Скоро меня выведут из этой камеры и повесят. А пока я рассказываю о том, о чем мне хочется рассказать, и пишу об иных временах и странах.

После вынесения приговора меня отправили в тюрьму Сен-Квентин, где я должен был провести остаток своей жизни. Я был признан «неисправимым». «Неисправимый» — это зверь в человеческом облике; таков он по крайней мере в глазах тюремщиков. Я попал в разряд неисправимых, потому что не мог выносить непроизводительной затраты труда. Тюрьма эта, как и все тюрьмы, была вопиющим позором, местом чудовищно непроизводительной затраты труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступная непроизводительность этого труда бесила меня. Да как могло быть иначе? Ведь сведение до минимума непроизводительных затрат труда было моей специальностью. Еще до применения пара, до изобретения паровой ткацкой машины, три тысячи лет назад я гнил в темнице Древнего Вавилона, и, поверьте, в те далекие времена мы, узники, куда продуктивнее ткали на ручных станках, чем ткут нынешние арестанты в тюрьме Сен-Квентин на станках, приводимых в действие паром.

Эта преступная, бессмысленная затрата труда была отвратительна. Я взбунтовался. Я пытался показать надзирателям десятка два более продуктивных способов. На меня пожаловались начальству, после чего я был брошен в карцер, лишен света и пищи. Когда меня выпустили оттуда, я решил принудить себя работать среди бессмысленного непроизводительного хаоса ткацкой мастерской. И взбунтовался. Меня бросили в карцер и зашнуровали в смирительную рубашку. Меня растягивали на полу и подвешивали за большие пальцы. Безмозглые надзиратели, у которых хватало ума только на то, чтобы заметить, что я чем-то отличаюсь от них и не столь глуп, потихоньку избивали меня.

Два года длились бессмысленные истязания. Страшно быть связанным по рукам и ногам, еще страшнее, если тебя при этом грызут крысы. Крысами были мои тюремщики, и они выгрызали мой мозг, выгрызали лучшее во мне, выгрызали мою душу. А я, я, который в прежней жизни был отважным бойцом, в настоящей моей жизни никак не годился для борьбы. Я был фермером, агрономом, кабинетным ученым, рабом лабораторий и думал только о земле и о том, как увеличить ее плодородие.

Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция рода Стэндингов. Я же не испытывал к этому никакой тяги. Все это было слишком нелепо: зачем понадобилось кому-то поражать тела маленьких темнокожих инородцев чужеродным взрывчатым веществом! Странно было наблюдать, как наука prostituteрует всю мощь своих открытий и мозг изобретателей, насильственно вводя в тела темнокожих чужеродное взрывчатое вещество.

Как я уже сказал, следуя установившейся в роду Стэндингов традиции, я стал солдатом и пришел к заключению, что у меня нет ни малейшей склонности к военному ремеслу. К такому же выводу пришлось, по-видимому, и мое начальство, по-

тому что довольно скоро меня назначили штабным писарем, и вот так, сидя за письменным столом, я и провоевал всю испано-американскую войну.

Как видите, непроизводительность труда в ткацкой мастерской приводила меня в такое бешенство отнюдь не потому, что я был бойцом по натуре, а именно потому, что по натуре я был мыслителем. За это я подвергался преследованиям со стороны тюремщиков и попал в разряд «неисправимых». Человеческий мозг работает сам по себе, и я понес наказание за его независимость. Вот что я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя «неисправимость» стала настолько общеизвестной, что он вызвал меня к себе, в свой личный кабинет, чтобы усюветить:

— Ведь это же нелепо, начальник, предполагать, что ваши крысодавы-надзиратели способны выбить из моего мозга то, что сложилось в нем ясно и отчетливо. Вся постановка дела в этой тюрьме нелепа. Вы политик. Вы умеете ткать паутину интриг и превращать политическое влияние барменов Сан-Франциско и всяких их прихлебателей в тепленькое местечко, вроде того, какое вы сейчас занимаете, но вы не умеете ткать джут, в этом вы ничего не смыслите. Ваша ткацкая мастерская устарела на полсотни лет...

Но стоит ли повторять всю эту тираду — ибо я произнес настоящую тираду. Я объяснил ему, какой он дурак, и он решил, что я неисправим безнадежно.

Назови собаку бешеной... ну, вам известна эта пословица. Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной мою репутацию. Я был отличным козлом отпущения. Не раз и не два сваливали на меня провинности других заключенных, и я, расплачиваясь за них, попадал в карцер на хлеб и воду. Или же меня подвешивали за большие пальцы и оставляли так на долгие часы, каждый из которых казался мне более нескончаемым, чем любая из прожитых мною прежних жизней.

Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх всякой меры. Все, кому я подчинялся, от начальника тюрьмы и до последнего надзирателя, были тупыми животными. Сейчас вы узнаете, что они сделали со мной.

В тюрьме содержался один заключенный — поэт. Это был выродок с безвольным подбородком и низким лбом. И фальшивомонетчик. И трус. И доносчик. И легавый. Несколько необычное слово, скажете вы, для профессора агрономии, но даже профессор агрономии легко может научиться писать необычные слова, если его заточить в тюрьму пожизненно.

Поэта-фальшивомонетчика звали Сесил Уинвуд. Он уже не впервые попадал за решетку и не впервые был осужден, но тем не менее на этот раз его приговорили всего к семи годам тюрьмы, потому что он был доносчик и предатель. А за примерное поведение ему могли сократить и этот срок. Мой же срок истекал вместе с моей жизнью. Однако этот жалкий выродок, стремясь отвоевать себе еще несколько коротеньких лет свободы, ухитрился вдобавок к моему пожизненному заключению подарить мне основательный кусок вечности.

События, о которых я расскажу вам по порядку, сам я узнал далеко не сразу и не в их хронологической последовательности. Этот Сесил Уинвуд, желая завоевать расположение всего тюремного начальства, начиная от надзирателей и начальника тюрьмы и кончая тюремной инспекцией и губернатором штата, подстроил доказательства якобы задуманного побега. Теперь отметьте следующие три обстоятельства: а) все заключенные так презирали Сесила Уинвуда, что ему не разрешили бы даже поставить щепотку табака в клопных бегах, а клопные бега были излюбленным развлечением заключенных; б) я был собакой, которую называли бешеной; в) для вымышленного побега Сесилу Уинвуду требовались такие собаки — кто-нибудь из пожизненно заключенных, из отпетых, из неисправимых.